

Век Москва - 2000 - 10 апр. - с. 5

Интимный альбом

ЭКСКЛЮЗИВ

Андрей Вознесенский:

Если Бог посылает тебе сигналы, значит, ты правильно живешь

Нет смысла докладывать, что такое Вознесенский в нашей словесности. Кому надо — в курсе, кому нет — уже не объяснишь. Его не все любят, но все знают. Кто любит — счастливо, как в романе. Так повелось у нас, что жизнь заметного поэта сама по себе — роман, перипетии которого на устах внимательной публики. Роман душещипательный, скандальный, авантюрный, амурный и далее по жанрам. Наш герой, самый знаменитый поэт современной России, к тому же, разумеется, не обошелся без шлейфа слухов, легенд и анекдотов, сумел счастливо избежать «ауры» романсового демонизма в его бульварной ипостаси.

Виктор ГАЛАНТЕР

Душа народа

— В своих беседах с журналистами вы, как правило, уходите от разговоров о клубничке. Это своеобразная полемика с обывательским восприятием поэзии или просто вы какой человек «в себе», Андрей Андреевич?

— Я думаю, это от воспитания. Как человек и поэт я воспитывался у Пастернака. Уверен, что ни-какому сегодняшнему, даже самому разудалому репортеру не пришло бы в голову спросить у Пастернака: а как вы трахали такую-то свою возлюбленную? Даже скандально-легендарный Есенин написал: остальное — в моих стихах. Один из озабоченных товарищей признал, что делает это ради рекламы. Моя же поэзия в рекламе не нуждается.

— Наверное, «озабоченные товарищи» задумаются, читать ли им дальше: давайте попытаемся их не до конца разочаровывать, а? Вопрос мой как раз о товарищах — без кавычек. Не поколенческая и не цеховая, а просто мужская дружба для вас существенна?

— Мне не нравится слово «цеховая». Ведь поэт — это не профессия — образ жизни. Это внутри тебя, а не на поверхности, как у других людей. Я что, искал себе друзей в Союзе писателей? Нет. Мои близкие друзья не из «цеха»: Родион Щедрин, поставивший меня на водные лыжи, элегантный гуляка Дмитрий Айрапетов и Виктор Жак. Под конец жизни он был ректором политехнического университета, фанат поэзии, совершенно сумасшедший и при этом удивительно светлый и деликатный человек. Я каждое лето и зимы тоже пропадал у него в Беловешской пуще... Чобы запомнить его телефон — 24-53-17, — я написал четверостишие:

Вам телефон поставили как тайную мечту: смерть Ленина и Сталина в семнадцатом году.

Эти стихи гуляли в самиздате... А вообще-то поэт одинок.

— А если говорить о вашем поколении, поэтической плеяде, чьи звездные имена нет нужды перечислять, насколько уместно здесь слово «дружба»?

— Когда умер Окуджава, Андрей Битов подошел к Белле и мрачно пошутил: «Ну что, вас теперь только двое осталось...» В этом что-то есть.

— Наверное... Скажите, а «шестидесятники» вы себя ощущаете?

— Конечно, нет. Поэт не может быть «шестидесятником» или «восьмидесятником». Если ты только «поэт поколения», значит, ты не поэт. Какого поколения Блок или Пастернак? Термин «шестидесятники» придумал Феликс Кузнецов, который когда-то был левым критиком, потом стал правым, потом опять левым. И слово пошло гулять. Хрущев на меня орал на встрече с интеллигенцией в 63-м году: почему? Я с трибуны пытался объяснить этим «образованным» людям: есть горизонтальное поколение и есть вертикальное поколение. Я сказал: Лермонтов, Пастернак и Ахмадулина для меня люди одного поколения — вертикального. Поколения уходят, поэзия остается.

— При всем том «шестидесятые» для многих почти синоним слова «ренессанс».

— Конечно, это было время волшебное — пик столетия. Может быть, какое-то особое излучение солнца. Рассвет поэзии во всем мире — и у нас. Но люди,

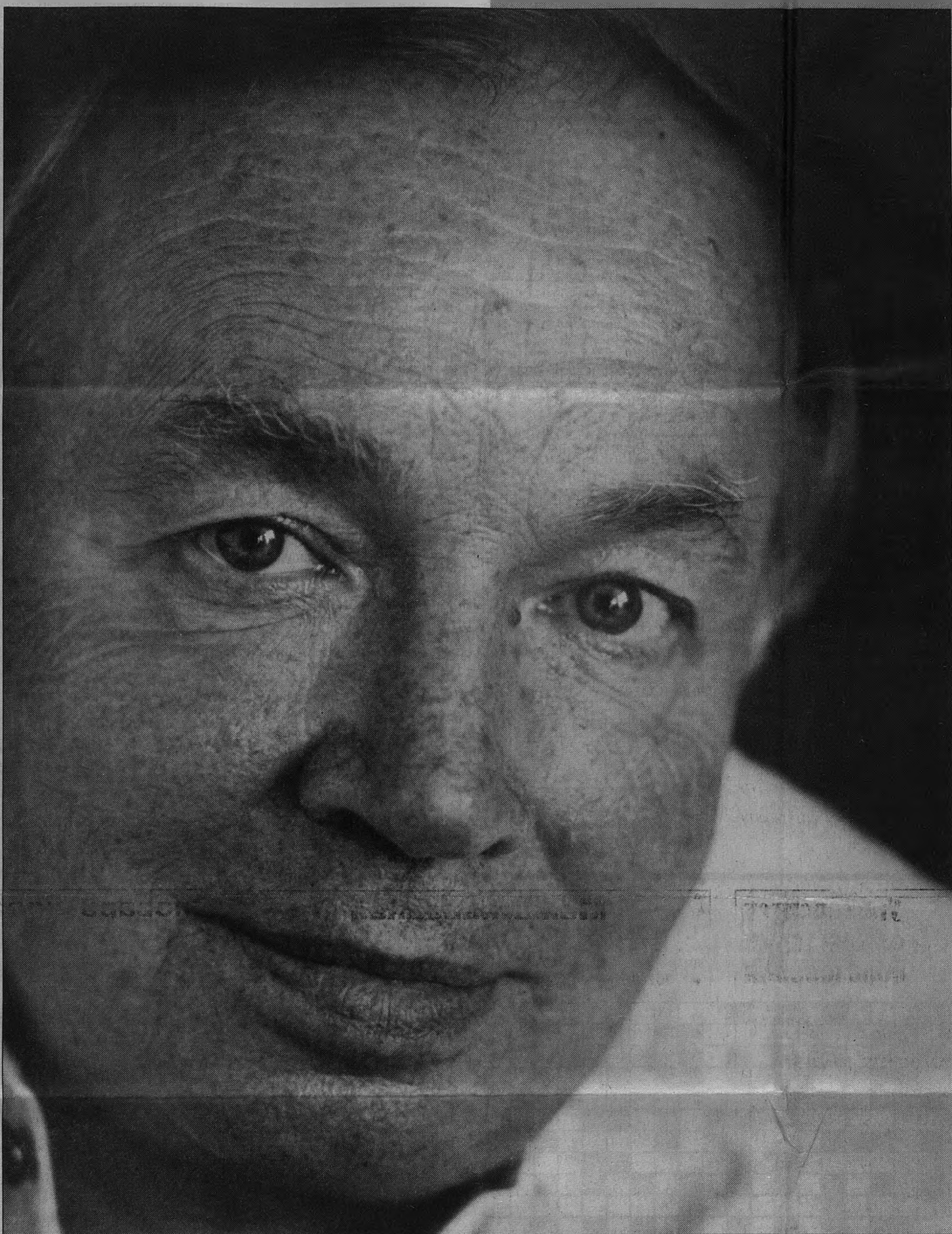


Фото из архива Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО

расцветшие там, не остаются в этом поколении. Если ты художник, то для всех поколений.

— Я думал, вы скажете про либерализацию, а вы — про излучение солнца.

— Была романтика, вера в свободу, которая, видите, к чему привела.

— Вы разочаровались в свободе?

— Мы думали, если будет свобода — будет все. Такой авантюрный романтизм. Мы не знали своей страны, не знали всех темных сторон своего народа. Взять хотя бы разгул криминала.

— Вы сами каким-либо образом соприкасались с людьми криминала?

— На вечера памяти Высоцкого подошел ко мне некий высокий человек. Оказалось, один из вождей московской мафии. И говорит: «Андрей, пригласи меня к себе чай пить. Все узнают, что я у тебя был, и ты будешь под моей крышей». Я не стал его звать на чай, но обратил внимание, как все перепутано: ведь «авторитет» пришел на вечер памяти Высоцкого! Или в Париже: другой известный «авторитет» посетил мой концерт. Возьмите вот Брежнев: тоже по психологии «авторитет», а любил Есенина. Слушал дома Высоцкого, может быть, запершись. В России поэзия — душа народа. Кстати, если раньше Брежнев не сам книги писал, то теперь наши лидеры сами пишут, некоторые даже и стихи... Между прочим, сейчас в грузинских школах опять преподают два стихотворения Сталина — грузины говорят, что это хорошие стихи.

— Андрей Андреевич, а «новые русские» не вызывают у вас изжоги?

— Отнюдь. У нас принято считать, что «новые русские» — это золотые цепи, это хамство... «Идеалист, новейший русский» — это я об убоином Диме Холодове написал. «Новые русские» для меня — компьютерщики, интернет-чики. Это очень богатые люди — и с университетским образованием. Профессора. Большеей частью молодые. Впервые в истории России молодость и богатство совпали в таком масштабе. Несколько лет назад один банк купил себе

«Квадрат» Малевича — один из, кажется, четырех. Могли ведь купить футбольную команду, могли купить баб для гарема...

— А вы, кстати, владеете компьютером?

— Я работаю на компьютере, но — боюсь его. Боюсь, что компьютер нарушит мою связь с этим миром.

Со словом, с языком и с Пастернаком

— Вернемся к началу. Статье известным — помимо того, что это давало практические дивиденды, — было важно для вас?

— Что значит важно? Это же не пост, который ты занимаешь. Известность сама пришла. Конечно, приятно, когда твои стихи знают, но слава ведь — это и страшная зависть коллег, и вообще на нервы очень действует. Помню, в молодости я разговаривал с одной актрисой: она сказала, что боится выйти на улицу, у нее началась шизофрения — она в лес по грибы, а к ней и там лезут с автографами. Тогда я принял это за капризы звезды... Известность — тяжкая участь. Хотя, конечно, и наркотик. Может быть, если бы я не стал... то огорчился бы... Я не могу писать дома, я брожу по улицам: иногда бормочешь строчки какие-то, а на тебя люди глядят — все пропадает. Понимаете? К тому же у меня был Пастернак, мне до лампочки были все эти союзы писателей, пресса, кумиры моих сверстников — Симонов, Смеляков и даже Эренбург: я понимал, что рядом с Пастернаком никого нет. Это когда у тебя внутри не хватает, тогда ты начинаешь выпендриваться, цепляешься разноцветные пиджаки... А когда ты со словом, с языком и с Пастернаком — тебе хватает для честности... для всего.

— Для критики вы всегда были большей частью автором «антимиров» и «парабол», а для меня, давнего вашего почитателя, скорее, поэтом литературным. Скажу даже так — есенинским, хотя вы и числитесь по другому «ведомству». Всегда было ощущение, что ваша «социальность» нанос-

Мы — утопленники Утопии.

Изучая ленинский текст,

выражение «двоежапие»

мною прочитывается как тест.

Вылезает из круглых скобок

перископный глаз как циклоп.

Раздвоение душ прискорбно,

но страшней — раздвоенье жоп.

Из поэмы «Лонжюмо» 35 лет назад эти строки были вычеркнуты цензорами из ЦК КПСС

тила: «Действительно, у Владимира Ильича встречается это слово — трижды, в разных стенограммах. Но читатели нас не поймут. Кстати, как там у вас: «увы, одна голова»? Я услышал угрозу: то ли мне, то ли он о своей голове задумался.

Неудобный человек

— Что вы любите в этой жизни помимо сочинительства? Есть вещи более важные, чем творчество?

— То, что вы называете «сочинительством», — та же жизнь и судьба. Самый высокий кайф — это когда ты пишешь стихи. Помню, у Пастернака за столом (были Ахматова и Рихтер) зашел спор. Ахматова сказала, что вдохновение — это чувство, с которым сравнить ничего нельзя. Но ты никогда не знаешь, когда оно появится, когда пропадет. Можешь месяцами ждать, вдруг нахлынет и — пошло, пошло, пошло. И говорит молодому Славе Рихтеру: у вас, музыкантов, разыграешься — вот и вдохновение. У поэтов же своего пианино нет. Слава обиделся: нет, Анна Андреевна, я тоже могу месяцами не подходить к роялю!.. В то же время с вдохновением неудобно жить. Допустим, ты назначил какую-то встречу (не с вами), и тут пошла рифма — ты опаздываешь. Получается, ты очень неудобный человек для общества.

— Вы живете на даче. Случается вам, скажем, копать на грядках?

— Грядку у меня нет. Все хочу завести клумбу: иногда я привожу какие-то цветочки из разных поездок...

— В надежде посадить?

— И сажаю. Но так — клочками. Вы знаете, что есть две садовые формы — английская и французская? Английская — естественная, неухоженная, французская — аккуратная, подстриженная. Поэтому я сторонник английской — ею не надо заниматься.

— Вы заканчивали архитектурный институт, стали поэтом. А кем бы вы никогда не могли быть? Наверное, военным или депутатом?

Депутатом точно нет. А что касается армии, в свое время я был на сборах во Львове, мы крепко подружились — молодые лейтенанты уходили вечером в ресторанные гульбы: все — в штатском, а я обязательно надевал форму с погонами. Мне это так дико нравилось! Мне казалось, что я Лермонтов или Гумилев. Я хочу написать прозу — офицерскую. Ведь это были шестидесятые годы, а значит — вольнолюбие, декабризм, заговор, революция молодых лейтенантов! Так что, если бы я стал военным, то тогда.

— Андрей Андреевич, а что важнее: демократия или когда любимая дышит в шеку?

— (Почти не раздумывая.) Когда любимая... Конечно. Когда дышит, это прекрасно.

— В какой степени творческие импульсы в ваших любовных стихах обусловлены, скажем так, ситуацией? Стихи ведь «не пишутся — рождаются». Как рождаются стихи о любви?

— Просто нельзя врать — иначе стихи не получаются. Все это дневниковые вещи, но, к сожалению, ты должен их печатать. Просто потому, что так принято. Трудно.

— Когда вы хотите понравиться женщине, вы читаете ей свои стихи?

— Когда я хочу понравиться, я что-то другое делаю... Бывает,

Мы — утопленники Утопии. Изучая ленинский текст, выражение «двоежапие» мною прочитывается как тест.

Вылезает из круглых скобок перископный глаз как циклоп. Раздвоение душ прискорбно, но страшней — раздвоенье жоп.

Удивительная новинка — человек с четырьмя половинками. Амортизирован, чтоб лежать — непонятно, куда лизать.

Многоженство антизаконно. К многожеству теперь пришли, как упругие шампиньоны их выращивает Дали.

Но, увы, еще до Потопа от рождения нам дана: одна Родина, одна жопа и, увы, голова одна.

Трубка минуты две молчала — может, он осмысливал услышанное или просил секретаря найти нужную цитату. Наверное, так, потому что наконец трубка отве-

ты пригласил женщину, которая тебе нравится, на свое выступление. Она в зале — и ты вдруг видишь, что она дура душой. Это открывается сразу. Когда ты читаешь, то вроде бы зал не видишь, и в то же время ты видишь все. Восприятие обостряется невероятно. Кстати, женский зал всегда лучше, чем мужской — в смысле восторженного восприятия. Женщина, она даже по утрам понимает стихи лучше, чем мужчина.

Я никому не отвечаю

— Какое время в большей степени «ваше»: когда вы начинали или сейчас?

— Я в каком-то смысле человек закодированный, все время смотрю на какой-то таймер, что ли: ты не знаешь, что такое счастье, что такое любовь... Если пишется стихи, значит, ты правильно живешь. Скажем, поэма «Оза» повернула мою жизнь. Так же, как и «Авось». Так и время: если тебе пишется — это сильное время. Так было в молодости и сейчас так. Сейчас очень много энергии выделяется — темной, страшной. Может, потому что перелом веков. Жуткое время. Но пока Бог посылает тебе сигналы, значит, ты правильно живешь.

— Поэт в России — всегда пророк, и вы, конечно, не исключение.

— Пророк и шут — это две стороны одной медали. Начнем с того, что, погадав на мой книге, Алла Пугачева напророчила себе свадьбу с Киркоровым. В свое время у меня была строчка «а лебедь не умеет хором». Тогда нельзя было вообразить, что появится одинокий волк генерал Лебедь. Десять лет назад я написал стихи о реставрации картины «Явление Христа народу». Мне казалось, что Христос похож на актера Леонида Филатова. Там была строчка «спускался человек, похожий на Филатова» — рефрен стихотворения. Весь прошлый год у нас прошел под рефрен «человек, похожий на Скуратова». А если говорить серьезно, одна из главных вещей, предсказанных мною, — симметрия времени. К примеру, девятисот пятый и девятисот семнадцатый годы — русские революции, которые сдвинули по всему миру. И за пять лет до конца столетия — антиреволюция в России. По-моему, симметрия сработала. Или вот: за пять лет до кремлевской аферы с облигациями государственного займа я написал видеоом в виде Кремля, а на зубчиках кремлевской стены — «М-М-М...».

— Вы напророчили большое будущее многим нашим, теперь уже седовласым, маститым поэтам. Можете назвать кого-нибудь из молодых, кого стоит запомнить? Хотя бы одно имя.

— Одно? Вы его и так помните — Земфира.

— Помню и ваши стихи, написанные тогда, когда о девушке еще мало кто слышал: «Дитя эффура — поэт Земфира...»

— У нее очень сжатые и интересные стихи, это личность. Вспомните хотя бы «Синоптик» — прекрасное стихотворение! Или строчку «У тебя СПИД, и скоро мы умрем» — здесь целая психология поколения. Не так, как раньше: рвали на себе волосы, узнав, что у тебя СПИД — теперь это просто часть любви.

— Андрей Андреевич, вам знакомо чувство профессиональной ревности? Задумывались ли вы над таким sacramentalным вопросом: мое место в поэзии там-то и там-то?

— Абсолютно нет. И не потому, что я такой святой. Чему завидовать? Что я не написал «Евгения Онегина» или «Теркина на том свете»? Это ведь не мое! Каждый поэт — первый или говно. Так же, как никто, кроме меня, не смог бы написать, скажем, «Юнону» и «Авось». Потому что это — только мое. Нет у меня ни черной зависти, ни белой, тем более что зависть в любом случае — зависть.

— А мистическим вы быть умеете? Если крепко обидят.

— «Не отвечаю никому, достойных нет, но вам отвечу». Вообще-то, у меня нет времени читать статьи глупцов. Слава богу, меня до сих пор много ругают. В основном на тему «он раньше писал хорошо, а теперь плохо». Те самые критики, для которых я раньше писал «плохо». Но не все же критики замшелые пни: есть Константин Кедров — Иван Калила российский поэт-постангард. Или Михаил Эпштейн. Правда, он за океаном.

— Вы можете послать человека матом?

— (Решительно.) Ни х... не могу.

— Вас волнует, что о вас говорят?

— Раньше очень сильно волновало. Теперь отношусь к этому спокойно. В прошлом году вот в журнале «Караван» какая-то дамочка опубликовала мемуары, где, в частности, «вспоминала», как Андрей Вознесенский, «лунолюбликий» (это слово запало мне в душу!), в Риге такого-то числа такого-то года занимался на сцене любовью с актрисой при широком стечении публики. Другая газета написала, что у меня вила на Багамах. Это когда у тебя пятисот рублей нету, чтобы заплатить за телефон, и его отключают. Я не отвечаю никому — улыбаюсь, хожу... Я не посягаю на свободу прессы. Ну вы понимаете, да?

— Чего вы боитесь в этой жизни, кроме компьютера?

— (Сурово.) Черных кошек.

Фото из архива Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО

«Мне казалось, что я Лермонтов или Гумилев»

* В 60-е годы А. Вознесенский написал несколько стихов: «Нас мало, нас, может быть, четверо...»

** Публикуется впервые